

елена сунцова



Поэтическая библиотека

Серия основана в 1993 году

елена сунцова
—
голоса на воде

Москва 2009



УДК 821.161.1-1
ББК 84Р7-5
С89

Оформление — Юрий Васильков

С89 **Сунцова Е. В.**
Голоса на воде. — М.: Время, 2009. — 176 с. — (Поэтическая библиотека).
ISBN 978-5-9691-0488-

Аннотация

ББК 84Р7-5

© Елена Сунцова, 2009
© «Время», 2009

ISBN 978-5-9691-0488-

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ШТИЛЬ

Однажды пришлось ночевать неделю на берегу Черного моря в укромной лагуне диаметром в полкилометра, в обе стороны от которой амфитеатром располагался заповедник с реликтовым можжевельником. Горный массив здесь почти отвесно срывался в море, образуя бухточки-кельи, доступ в которые осуществлялся только с воды, через скальные нагромождения, или сверху, при наличии верхолазного снаряжения. В те времена егеря пускали в эти бухточки пожить за небольшую плату. Так что многие ниши у самого моря были заселены невидимками, в шторм находиться в них было бесконечно, и страшно, и мокро, а в штиль — вы имели дело с лунным светом и шелестом волны, мерцающей по коже морскими светляками. И тогда важно было перебраться в саму лагуну. Дышала долгая волна, лился конус лунной дорожки, и все голоса, любой шёпот и вздох доносились из бухточек со всего многокилометрового периметра заповедника в акустический фокус, располагавшийся под невысокой скалой.

Незримые, неопознанные, навсегда безымянные голоса шептали, спорили, признавались, рассказывали. Бесплотность этих голосов сжимала сердце.

Смотри на небо этажей,
как я на голое смотрю
оцепеневшее уже
вполоборота к ноябрю

лицо воды во тьме реки,
так запрокинутое, чтоб
прикосновение руки
проткнуло губ горячий шёлк...

Степень лиричности — сокровенности — сообщения прямо пропорциональна дистанции, на которую оно рассчитано. Отосланные на бесконечность без потери звука, стихи Елены Сунцовой — голоса над водой, шепчущие в ухо Бога. В этом и состоит парадоксальный, мощный эффект этих стихов: в том, что читатель, если суждено ему попасть в фокус сознания стиха, озаряется, освящается присутствием Бога, то есть возлюбленного; потому что альтер эго, в отличие от человека, обладает завидной участью без посредников устанавливать свою наследственность по образу и подобию.

Всё дело в минимальной потере звука, в уровне шума, который стих претерпевает на пути к адресату. Разумеется, меньше всего звук потеряет, если будет — парадоксально — отделён от других голосов при помощи иного бытия —

стратосферы, оптической среды, вакуума. Отчасти организм этих стихов как раз и построен одновременно на совершенной включённости в бытиё, со всей тактильной правдой и реализмом — и притом на абсолютной надмирности. Ничто, никто не отвержен, всё искуплено.

Задача поэта, если таковая вообще имеется, состоит именно в искуплении: вывести если не мир, то возлюбленную из ада, память — из небытия. Бесстрашие поэта в том, чтобы решить эту задачу в лоб, пренебрегая мыслью о себе, минуя тяготы преемственности и всего остального, что может стать привнесенным балластом. Задача эта трудна, решение её есть борьба; но борьба и есть освобождение, свобода.

При этом, разумеется, слышней всего шёпот, негромкий голос. Но только при условии, что звучит он без свидетелей. Есть лирические поэты, чьи стихи рассчитаны на присутствие попутных слушателей, то есть на тех, кто слышит их исповедь, чья тайна превращается ими в предмет мены. У Елены Сунцовой, с её слитностью высказывания, признания, произносимого на одном выдохе, с предъявленностью дыхания, нежности со всем тем, что необъяснимо прикрепляет душу к телу, — стихи исключают всеуслышание. Они суть тепло сродства, утоления.

Спасённая, представившая их,
оставившая их, живу их встречей,
живу — надежда, ожиданье их,
их вопрошанье, разум, тьма и голод,
их воплощенье, радость и борьба.

Необыкновенно редкий случай, когда книга оказывается предназначена не только для чтения, но и для жизни. И для жизни читателя, и для жизни своей, становления живого существа просодии и смысла. Вызывающая при прочтении сильное движение дыхания, книга «Голоса на воде» относится именно к этой счастливой разновидности.

Александр Иличевский

*Моему
мужу*

ГДЕ АМЕРИКА

Так воздух выпадет из рук
стеклом заговорённым.
Так светофоры новый круг
очертят в нём зелёным.

И эту улицу туман
наполнит, выходя
из океана в океан
рассвета и дождя.

На пороге расставались,
словно удалась,
отвердела словно завязь,
распустилась вязь.

Погоди, умалишенье,
всё не уходи.
И допой произношенье,
словно доцвети.

Упадёт за взглядом свет,
и река засеребрится,
не ищи, её там нет,
как луна, она боится

с ледяной горы бултых
в прорубь или мелководье,
омут там, где смотришь ты,
как вдоль берега уходит,

серой радугой гремя,
окунаясь в спящий воздух,
лодка, выронив меня,
как зерно, в тугую воду.

На маленьком окне,
на полочке короткой,
невидимые — снег —
флаконы и коробки,

еловая труха
и мандарина шкурка,
орехов шелуха,
фруктовая кожурка —

за хвостик черновик
растаявший поймала
и, спрятавшись от книг,
листок перегибала:

лети, лети, во сне
дотронуться не дай, не
молчи, как после не
весёлого свиданья,

а прожитого дня,
которому на вычет
веди, веди меня,
раз ты его добыча.

Жёлтые деревья,
чёрные такси
(это не в России),
статуя Минервы.

Холодок по коже
каменной, дублёной.
Выдохнула: — Боже,
помнишь, я с продлёнки

топаю из школы,
«Книги», «Трикотаж».
Ноги на приколе.
Верю, что не дашь.

Боль заменяет остроту
переживания о боли,
что есть причина алкоголя.
Вот я приехала, иду

в несовпадающем с тобой,
перемежающемся эхом
пространстве, будучи помехой
моей любви, о Боже мой.

Гибнем, как выпавший в город снег,
дома живём ничком,
через неполные ... тысяч лет
помнимся светлячком.

Тонем ладонями на восток,
гаснем, как шум сперва,
ждём, что воскреснут перед крестом
утренние слова.

В белом воздухе медовом,
на крыльце полупустом,
выйти к берегу готовы,
исчезают под мостом.

Здравствуй, горло расстояний.
Празднуй, музыка и дух
одного из двух сияний.
Поглоти одно из двух.

Люди со спины
выглядят счастливей,
ходят торопливей
голода блесны.

Двери отвори,
на пороге ангел,
маятником, гонгом
сердце изнутри.

Будем выводить
утром на прогулку,
мякишами булку
селезню давать.

Колодец, полный пустотой,
слезы, крупинкой ставшей соли,
не принял, не нарушил воли
её, — уже не быть водой.

Подумаешь об этом вскользь,
идя и стряхивая брызги
с листков, с тугих бутонов роз,
которых не раскрыл, опрыскав,

дождь, распахнувшийся не здесь,
и, радужный канатоходец,
танцует облачная взвесь —
в ней смотрит и молчит колодец.

Слева теплота
старого дивана,
справа теплота
старого кота.

И всего-то, да,
не проходит, рано,
с уха до хвоста,
нету, пустота.

Самолёт летит, качая
белым подбородком,
так носами на причале
вздрагивают лодки.

Над водою ледовитой,
над морскими львами,
над безлистым сталагмитом
в каменном кармане.

Всё летит, летит, красивый,
как хали-хало и
млечник бурый, древесинный,
грузь мавроголовый.

Прогулка, поиски впотьмах,
где цвёл и вспыхивал, доверю
тех листвьев прах, и пух их серый,
летающих, потухший парк

тебе знакомо отдаю,
ты будешь шёпот, снова, помнишь,
такая радость, что покой лишь
остудит трапезу «люблю»,

полузакрыв глаза, иду
бульваром, голосу чужому
послушна, мне и хорошо, и
весны прощаю красоту.

«ТРОЙЧАТКА»

1

Вернёшься в тёплую Москву,
под новую листву.
Я просто не переживу.
Я не переживу.

Автомобили, ночь, ладонь,
знакомая на вкус.
Ты будешь сетчатой водой,
в себя принявший груз,

Москва, чей голос до земли
склоняет фонари...
Через неё переболи.
Даст Бог, перегори.

2

Вот и вернулся на место любви.
Лёг и уснул, как был,
на возвращение убив
пару минут ходьбы.

День отгорит, и тоска войдёт
в новую листву.
Тот, кто вернулся, переживёт.
Я — не переживу.

3

В темноте твою ладонь
вспомнила почти.
Там, где видится огонь,
сумрак на пути.

Будто маятника стук
ног шаги босых.
Так на тумбочку кладут,
расстегнув, часы.

Так с тобою говорит
и молчит Москва.
Слушай новый алфавит:
я, ж, и, в, а.

Освободившись от любви,
от темноты освободившись,
не уходи, не оглянувшись,
не останавливай руки,

не видя, что освобождён,
так шелкопряда спящей спинке
не тяжелее крыльев нитки,
которыми перекрещён.

Летя дворами и домами,
как фантик съеденной конфеты,
снег был беспомощней бумаги,
роднее первой сигареты,

не тая на ступенях лестниц,
висящих по диагонали,
не останавливаясь здесь и
вверху, склеили, окунали,

и окончательно минула
та, о которой соли горстка,
в них, хлопьях пения и гула:
лежит и светит солнца шёрстка.

И волна ли или нам и
ветер врёт, напомни,
пели, верили, не знали,
плакали о ком ли.

По живому морем небу
догуляв счастливо,
так не берег ждёт ковчега,
голубя — олива.

Вечер плывёт по его руке,
устье реки — плечо,
дерево держит на поводке,
он не поймёт о чём.

Это как раковины в песку,
гребень волны шихана,
долгий, глубокий рисунок скул
берега океана.

По тёплым улицам пустым
и наклонённым переулкам,
сквозь юга дым и запах дынь,
пекущейся дыханье булки,
иду за ним.

По белым плитам босиком,
под звон сдигающихся рюмок
к особняку, особняком,
не обнимая, не горюя,
иду легко.

Вор выпьет, что не на виду,
дождь выйдет и следы зароет
в ложащемся во тьму саду,
к утру покажет сушь барометр,
одна, иду.

Счастье только лишь чужое,
никогда своё,—
так полощется большое
новое бельё

в голой проруби дубовой,
и стоит потом
на балконе белым колом,
словно в горле ком.

...ещё не высохла зима,
но лёд чернеющий оттаял,
вечнозелёные дома,
в листву одеться не пытаясь,
весной в самих себя растут,
сомкнувшись под её рукою,
зеркально радуются: тут,
как сердце, озеро в покое,
и верхней облачной душе
пора за ним, оно болит.
...спускаясь с неба этажей
в наружу отворённый город,
в полузакрытый алфавит.

На одном материке,
но у разных океанов
мы вдвоём, рука в руке,
вопреки меридианам.

С гор покатится трамвай,
мост метнётся неба выше,
опрокинет в ночь и в рай —
эхо, берег, волны, слышишь...

Я помню их осенний вид,
но их не видела весною,
они стоят передо мною
налево справа, как иврит.

Когда-нибудь переведу
тому, кто вырасти успеет:
деревья, что не розовеют,
не замерзают, как в аду.

Зимой дыхания тепло
осыплется, как смерть сухая,
по мёрзлой насыпи ступая
на глубине.

Мороз царапает стекло,
и поворачивает поезд,
какой восторг, какая горесть,
иди ко мне.

Обыкновенная зима
и снег нерусский, глянцевитый,
картина прерафаэлита,
бочок надрезанный граната,
разграбленные закрома.

Всё настоящее: луна,
вернее, месяц, лёгкий навзничь,
мышь, удирающая прочь,
куда глаза глядят, и плач
хозяек от дурного сна.

Какая радость, что меня
он потерял и не увидит, —
так ненавидящий, тая,
заходит в дом и ненавидит,
собой неизвестный, молчит,
сквозь слёзы морщась, колупая
на стенах краску, голубая,
как все умытые подъезды,
обитель хлорки и стыда,
она навечно, навсегда,
как ненависть и как несчастье —
но в том и радость, что, стерев
простую надпись «здесь забыли»,
стоишь, закрыв глаза от пыли,
пердохнув, переболев.

Не поднимет душа — тяжелее зла,
легче бабочкина крыла —
с тех дорог, по которым она прошла,
крошек того стекла.

Так не вспомнит вода, что сомкнула рот
рыбе, вросшей в речной лёд,
долгим летом, когда её сад пьёт
и соловей поёт.

И вот простилась с радугою, милый,
мой спрятавшийся порох, пух невинный,
мой папоротник белый, лучезарный,
в пустыню убежав, не убежавший.

Люблю и потеряю, променяю,
ты спиши, я всё равно тебя, и я, и
бочок внутри ножа неосторожный,
открой глаза, исчезнуть невозможно.

Себя на ветер бросил дождь
и сгинул в облаке подвздошном,
закрыл глаза и лёг, потухший,
на в сумраке горящий зонт.

Беги, беги, и, кроме нас,
к нему воздетыми руками
прильнёшь, как с холода щекою
ребёнок, прячущийся там.

Превозмогая вид знакомый
и до знакомого родной,
ложатся, опадают горы
передо мной

в продольный воздух, не вечерний,
он, по-вечернему горя,
высвечивает возвращенье,
благодаря.

Горе подарила,
не заговорила,
я тебя любила,
наклоняла, мыла.

Куколка слепая,
выя и зевая,
горлышко моё,
подержи её.

Смотри на небо этажей,
как я на голое смотрю,
оцепеневшее уже
вполоборота к ноябрю

лицо воды во тьме реки,
так запрокинутое, чтоб
прикосновение руки
проткнуло губ горячий щёлк,

рождая голос или крик
пусть чайки, стонущей в окне, —
в купели воздуха язык,
двоясь, отсвечивал на дне

монетой, бывшей в колоколь-
не частью музыки, она
ей переплавлена, как боль
проходит, не побеждена.

Вижу декабри,
волны гор качнутся,
что ни говори,
не перевернутся.

Полон водоём
белого паденья,
не перевернём,
лишь на погляденье.

Камень будет петь,
папоротник виться,
дерево мелеть,
жить веретеница.

Уходи, как вверх
канула дорога,
солью на траве,
крупной и неровной.

Тонет путешествий
глинозём и обух
в непроизошедшем,
шедшем своим ходом.

Старый город новый
и такое солнце,
скажешь здесь пол слова,
слово назовётся,

встанешь, будто здешний,
голенями в ветки,
дерево орешник,
передай привет.

Зима, зима, земле золы зима,
во зле воз левой мне было одной,
не тронула тропы вошла тропой,
спешила, понимала, поняла —

ноябрь, светлее воздуха ноябрь,
не холодно от серой пелены,
покалывай, показывай мне сны,
двоя.

Или забыла тебя, потом
встала, тебе трава.
Или беспомощно шёпотом
дыхание приковала.

Господи! — я потерялась. Не
слышь меня. Улыбнись.
Кажется, вправду в другой стране.
И в самом деле, жизнь.

Это дерево в окне.
Это озеро в огне.
Это белые следы
от движения воды.

Замерзай, не замирай,
исчезая, не играй.
Словно линза, выпей свет.
Нет.

Екатерине Симоновой

Вот буксиры плывут по реке ночной,
чёрной воде ночной.
Восемь жёлтых огней и зелёных два
помнишь и узнаёшь.

О буксиры, какая на вас тоска,
как толкаете вы её
от Ла Гардии прямо до Бруклин Хайтс,
вот вам ещё моя.

Скоро вернётся к тебе зима,
снова ослепну от
города, горя, любви, тьма
tronет за живот.

Кроме себя, он — ни я, ни ты.
Воют деревья, спят.
В холоде больше красоты.
Спи же, не мой до пят.

Приближаясь к лету,
спотыкаясь, долго,
высота ответа
вроде года в холке.

Нравится и вроде
не напоминает
то, что перебродит,
то, чему вина.

Воздух хмурый и грязный, грузный,
прихорашиваются ёлки
на продажу — пахучий комель
по соседству с рядом фиалок,
лопушистой цветной капустой,
украшением тротуара.

Лишь тревожно стволы чернеют,
бурый парк облетает птица
и река оседает в празелень,
снег не смилиостивится выпасть.

Снег на грушевый листок,
белый топоток,
острый ёлочный замес,
город или лес,

через улицу иду,
просеку веду,
и берлога ли бела,
не увидела.

И по левой тоже щеке ударь,
и она принимает грех.
Любодействуй, лги, укради, предай.
Всех прости, помолись за всех.

По реке, как огромная рыба-кит,
баржа тенью ночной плывёт.
Ярко-белый огонь на носу горит.
Или тонет, наоборот.

А ему скажи ты бре...,
пятипалую в норе
протяни, не обращай
вни..., сожмёшься и леща.

Вот и тонет самолёт,
сам ему man overboard,
на ладони только снег,
кровь на белой глубине.

Лепестковый сон
на каракульче,
видела, зачем
помнила лицо,

и, исчезнув, то,
полое на вид,
дерево-цветок,
вроде не болит.

Сухое дерево разлук
под успокоившимся сердцем
не отзывается на стук,
как кукла сломанная в детстве,
проснись скорей, я тут как тут.

Вот дом, умноженный рекой,
одно из этих окон наше,
над крышей, как маяк, огонь,
звезда всё выше, всё бесстрашней,
всё различимее такой.

Темнота, куда глядишь,
пенью радуется лишь.

Звук коснётся и замрёт,
отвердеет, станет лёд,

по которому пойду
сквозь границы, на виду.

Выйдешь, осень разом
полыхнёт, и разум
явно сторонится
осени, двоится.

Подойду, согреюсь
напоследок, мне есть
что в огонь подбросить,
не в огонь, так озерь.

Тёмное утро, ливень стеной, спиной
к спинам приник, зевнул, перетёк в сабвей,
остановилась и зонт погасила, здесь,
на восемьдесят шестой и Лексингтон,

сепия, соус, уголь, сангина, бистр
чёрным по мелу расплывшихся облаков,
и жжёной умброй, терракотой, хромом
солнце, не видное за, и домой, домой.

Впервые — дух захватывает, позже привыкаешь,
огнями труб неумолчных за окнами мигаешь,
срываешься в пике ночной заснувшей было чайкой
и тычешься веслом в сырое дерево причала,

где чёрная смола реки, как шёлковая лента,
которую распутало и выгладило лето
своими хоть и южными, но ветреными днями,
лоснится, отражая звёзды бликами, тенями.

Похоже облако на яблоко,
на колокол, на стог похоже,
на трели-переклички зябликов,
на трещины на спелой коже.

Гляди, в повозке он качается,
дрожит, заваливаясь на бок,
и, опрокинувшись нечаянно,
сухим дождём поёт из трав.

Ветер дунет справа,
сердцу верить рано,
остановишь — много,
всё не ради Бога.

Свистнет, словно чайник,
взмолится: прощай
и держи ладони
свету наготове.

Воду внизу без запаха и песка
и берегов гранитную вертикаль,
на материк лестницу эстакад,
белый над головой частокол зеркал,

лайнер, дрожащий в очереди на взлёт,
видит остановившийся на мосту
тот, кто на этом острове ждёт, живёт,
вспоминаний раскачивая батут.

Свет эту реку делит напополам,
словно граница времени и любви,
рябь от него навсегда остаётся там,
как ни люби, как вынырнуть ни зови,

и остывает в облаке сентября,
в листьях платана и дыме родного дня,
рдеет, как разрушающееся — «я
помню» — от взгляда, даже не от огня.

Ты приснишься на роликовых коньках,
скажешь: не помни страх,
сам их наденешь, махнёшь: летим!
Полечу на твоих руках.

Прилетим в самый лёгкий, из тишины,
лишь тополя видны,
с крышей из первого снега дом,
белый над ней дым.

Буду сидеть на заборе и
видеть, как ты говоришь: смотри,
в синее озеро я нырнул,
озера я внутри.

Тут же подёрнется тонким льдом
озеро, кувырком,
кубарем ринусь под воду — там
фильма начала ждём.

Вымок и высох туда билет,
бежевый полный свет,
ты обнимаешь меня: люблю,
я не боюсь, нет.

Твой остров и твоя Москва,
моё такси и мой Манхэттен,
который раз которым днём
не прислониться, как укрыться,
как повернуться и спастись.

Твои слова, мои права
мне возвращённым силуэтом
овладевают, как огнём,
и нет ни времени забыться,
ни наслаждения уйти.

И, брошенный и неспокойный,
оправданный и смолкший за ночь,
вочеловечась ненадолго,
он вдоль разрушенной реки
идёт с утишшей слева болью,
земли касается не сам — он
в том шуме не расслышит толком,
кого лишился вопреки.

*По горам, по долам
ходит шуба да кафтан.
По рукам, по ногам
ткутся пыль и пенька.*

Август прянь, лист медвян,
небосвод голубой.
Глянь в меня, глянь в меня,
омут выпей, ладонь.

ГАВАЙИ

Порою берег молчалив, не шепотлив:
волною воздуха на берег шёл прилив,
потоки цвета мимо ночи опрокинув,
коснулся вытянутой облака руки.

В нём тёк шум пальм, сравнимый с шумом волн,
журчащим шелестом туман рассветный полон,
как полон птичьего клохтания обрыв,
вершину влажной отражающей горы.

Нежность, которая нас качнёт,
выронит нас на берег, —
книга, которая нас прочтёт,
верим мы ей, не верим.

Солнце упало за камень, там
смотрит вверх головою —
пусть прорастёт по её пятам,
всюду, как той травою.

*Воздух имеет происхождение своё
от зноя и холода.*

Якоб Бёме

Небо такое же, как тогда.
Облако. Тёмный зной
опустошая, горит слюда,
вставшая надо мной.

Рыбы, покрошенный мелко лёд,
лава асфальта, плит.
Воздух родившийся солнце пьёт,
вывески шевелит.

Вытянулась мгла,
вылилась на землю,
окунула в мёд,
подошла ко мне.

Тени на бочок,
сон гречишный, мятный,
где моя ладонь,
воздух, вдох.

И старая река, и жар
к лежащей яблоне привыкли
и помнят, как дрожал навыкат
беспомощный горящий шар

большого яблока на ней,
и как подрагивала, билась,
не видя неба и людей,
не зная, что такое — милость.

Над голубым, как в иле водоросли, днём
судьба качается на вытянутом стебле,
увидишь сон такой, как видела река,
и воздух переменишь на прибрежный, —

войди, трава, стучи, ещё найди,
покуда мне не встать, не стать тобою,
мне горная дорога не бела,
не ровен шаг под нею, сок не выпит.

Там, где Америка, босиком,
трогаешь языком,
розы истаявшим лепестком,
помнила, шёл пешком.

На, береги и прощай, спаси
можно того в пути,
кто не забыл, что лежит в горсти
мокрый песок, штиль.

Здесь облачно, плывёт асфальта тень,
меж плитами стареет тёплый камень
голыш — как в сухарях, окатан щебнем,
и гром, как сердце, вздрагивает в горле.
Застынем, завернёмся и пойдём.

Пугливо голуби неслись,
и слабая листва металась,
застигнутая, наспех вниз
ссыпалась — и двоилось, рвáлось

овеществлённое воды
сознание, поток зелёный,
коснувшееся высоты
тоски, как свет, одушевлённой.

Не вознаграждена, обручена,
растеряна щетою повториться,
покою и размаху вручена,
как белая над облаками птица, —

так сквозь меня просвечиваешь ты,
и планеры из клетчатой бумаги
уложены за пазухой, впритык,
у сердца, в левом внутреннем кармане.

Вечер, дерево, восток,
ветер, озеро, восторг.

Обними и посмотри:
цеппелин поёт внутри.

Тишина, и вдалеке
голубь на его руке.

Увидит темноту и дрёму
и невысокое метро —
шатёр, раскинутый под нами,
и в белой лилии пыльцу,
как в терракоту сна, уткнётся.
Божок покинутый, пойди,
летай — так, видимо, влетает
пугливый бражника детёныш
в моё раскрытое окно.

Океан обнимет юг
лавой кружящихся рек —
ледяней гренландских рун
берег, слеп.

Одолень-волна цветёт
ото дна и пьёт траву,
то подталкивая плот,
то к нему.

...и договорил
ветер, снова ветер,
падающий свет
зарево открыл.

Изнутри воды,
белое, качалось,
посмотрю — причал,
водоросли, дым.

Белая вода,
сколько хватит дня,
небо и металл,
вспоминай меня.

Шелохнётся взгляд,
голубь и огонь,
помаши рукой,
тронь.

Парит подснежнико-подсолнух,
плывёт подсолнухо-подснежник,
освобождён и нарисован,
летает, бежев.

Вода, как северная Волга,
что горевала и горюет,
что небо всходит — и надолго,
течёт к июню.

Небо темнеет — рухнет скоро
в воду, догонит воду, —
увидели, как самолёт
пролетает над теплоходом.

Мы дети, живём на даче,
мы, за руки взявшись,
забыли вернуться в город,
и первым был тот, кто старше.

ГДЕ БЕГ

Стихи, написанные в России

Любимая, любовница, любовь,
бесполая, беспамятная, ты
оставила мне кров — но выше кров-
ного родства оставленная ты.

Похожая на огненный фонтан,
на медленный и медленный разбег,
живи теперь не та — или не там,
где бег.

Чужая жизнь врывается в окно
клочком беседы, отголоском спора,
взрывая позабытое давно
реальностью чужого разговора.

И тут же, словно вымолена, мне
является блаженная разгадка,
как ласточка, мелькнувшая в окне,
как ясность за секунду до припадка.

На первой глади полотна,
распахнутого утром в мае,
окно, разёрнутое в сад,
от ветра вздрагивает тенью.

И скатерть тихая лежит,
как одеяло уголками
подвёрнутая, отражает
сирень и белую сирень.

Ненужный, плачь не плачь,
до времени воспетый,
дрожащий, как стекло,
держащийся за ним,

не помнящий удач,
показывавший, где ты,
живой, любви назло,
будь ныне ей храним.

Молчание и тьма,
но что ему молчанье,
когда — меридиан,
когда — земной магнит?

Сквозь белые дома
проходит, горяча и
сильна, как океан,
покуда компас спит.

Молчи, моя просодия, молчи.
Мне страшно? Да и Бог себе судья.
Гори, рождая тени и круги,
летуч, как неба свет, огонь безмолвный.

Играй, моё желание, играй.
Опустоши ларцы, не трогай нити.
Пока живу и кутаюсь в слова,
любое горе — труд и клад подземный.

Ищи, моё сравнение, ищи.
Рождающийся вал тебе поможет.
Хлестнёт — и успокоится язык,
вседядный, насекомый, но спасённый.

И речи трезвой и бездонной,
о наслаждение, и волны
не останавливаются,
как ночи северной сиянье.
Моя весна и жизнь моя —
бег вынул бьющееся сердце,
клинов из ножен, взвился плач —
рассыпались и возродились
другими — призраками — в нас.

Жизнь снова выдохнула: нет,
и замолчала, торжествуя,
не останавливаясь, вслед
на обожжённый локоть дуя.

Смотри: с седьмого этажа
видна тюрьма, и город едет,
пошатывается, держась
за спины временных соседей.

От целого смятения и лжи
совсем окаменело, пламенело,
едва касаясь времени, смотрело
и, отзыаясь, прорастало в жизнь,

выклянчивало: Боже, ну спаси,
ну помоги мне вырваться, раскрыться,
впитать дождинки-искры, расцвести,
сквозь твёрдый камень дотянуться, сбыться —

тебя мне мало, ты ещё больна,
поспи ещё, ты снова заболеешь,
не хватит сил, умрёшь во сне, одна,
увидеть, что живой я, не сумеешь.

И вот, послушна голосу, молчу
и к свету не протягиваю руки,
не вижу, не вдыхаю, не лечу,
как ты, неповторима до разлуки.

Как платок, упавший на пол,
как блуждающий огонь,
неизбывным, новым знаком
буду связана с тобой.

Вспыхнуть, вспомнить — не ответит.
Не дождаться, помянуть.
Не печалься, вторит ветер.
Ничего, что не задуть.

За ним рассыпается и — свет прокрадывается — гаснет
белый закат — наваждения — зеленеют
в водном тумане огромные клёны, липы.
Парк на краю залива, конец апреля,
статуи дремлют в дощатых опочивальнях,
в зимней холстине туи и кипарисы,
стылая, злая весна. Он выходит к морю —
пристань — сейчас это только название, море:
в твёрдых морщинах, утратившая способность
помнить и отражать ледяная толща.
Словно очнувшись, оглядывается: лето.

Теперь — навеки, Боже мой, теперь — навеки.
Запомню: вкрадывался голос, ночь стояла
и осыпалась, как сухими мотыльками,
в труху и клочья, целовали, находили,
вдвоём нашупывали первое биение.

Роман с Москвою, Боже мой, роман с Москвою,
в домах понравившихся падают и тлеют,
кружась, страшнее и роднее Петербурга, —
я вобрала твои безудержность и голод
и распылила их по улицам покатым.

Белее снега, Боже мой, белее снега
течёт бумага, переваливаясь навзничь,
меня пугая и меня одолевая —
вот я беру тетради с кажущимся детством,
и до сегодняшнего дня всё правда, правда.

Какая может быть надежда —
на то, что так земля мала?
Мир продолжается, невежда,
за краем твоего стола.

Пусть голуби летят, и руки
бельё развешивают над
тобой, окутывают звуки
пускай, молчанию впопад.

Боль хлынет, как вода
в расплавленное олово:
немедленно прочти,
как водится, смолчи.

Не ветер, но полёт
срывает с веток вишни
цветущей лепестки
и гонит вдоль реки.

В Москве до боли головной
так невозможно дотянуться,
так воспоём три пачки соли —
едва початые, стоят
на полке шкафа углового,
и с переулка Углового
в окно влетает птичий гвалт.
Рассвет тихонько голубеет,
весь шум Москвы ушёл в метро. Я,
не ев два дня, скребу по полкам
чужого шкафа углового,
а переулка Углового
мне фонари в лицо горят.
— Что, — мне хоочут фонари, —
кто ночью Вала Земляного
выдерживал нестрогий взгляд?
Кто, торопясь на Вал Грузинский,
Бутырский Вал перебегал?
— Ну,тише,тише,фонари,
я голодна, а вы горите,
в шкафу нашла я макароны,
и постаралась их сварить,
и вскипятила чай монгольский,
канал включила «Евроньюс»,
сижу на круглом табурете
и в листья первые смотрю,
сиреневые в вашем свете.
И никакого Интернета,
ни ноутбука, ни «Билайна»,

и лишь в блокноте жизнь моя —
так это ж юность! Здравствуй, здравствуй,
твои чужие макароны,
чужая соль, родные листья,
выходишь в город — как экзамен
самоуверенно сдаёшь:
родной асфальт, намокший за ночь,
родную ночь в чужой квартире,
в родной чужой чужой Москве —
вот этот вспомнившийся пыл,
вот это за руку с тобою,
вот эти нежность и нелепость,
вот этот дом, где нас не ждут,
где нас не ожидает лето.

Утопленница-жизнь,
ты шорохом бумажным,
шуршаньем мокрых шин
и поцелуем влажным

зовёшь меня с собой,
и шума городского
размеренный прибой
меня накроет снова,

прости меня, я враг,
я хуже — перебежчик,
я скрадывала шаг,
я знала, где полегче,

отшельника в лесу
сгоревшем не бывает,
прими меня — несу
тебе, ещё живая.

Были с тобой под одним небом,
были с тобой одни,
плыли, дотягиваясь до берега
тёплым хребтом, дни.

В озере тонущего дерева
тень, отраженье, падь,
только и делали, что снегом
трогали ту гладь.

Ветер бежевый поёт,
адресок в ладони тает,
никуда не улетает
врытый в землю самолёт.

Со двора и по двору
катят на велосипеде
снова выросшие дети,
разъезжаясь поутру.

И рассветный первый дождь
звери нюхают в загонах,
что напротив, за забором,
и под струями идёшь.

Какое дерево цветёт,
какое небо камнеет,
как пену дерева обнять,
как обойти судьбу садовой
ненужной розы, как избыть,
как нежности огня ответить,
его несчастье как забрать,
как вынуть — плачь и снова бойся,
меня лови — и снова бойся,
ко мне подкрадывалось пенье,
тебя оно схватило всё.

РОМАНС

Всё, что угодно, только не тебя —
и молодость со спящими дарами,
и подлинность, не движимую нами,
и что угодно — улетай, губя.

Уверенную вверенную помощь
благоволи — вели — а воплоти
разгаданную полночь — и лети,
опомнясь, вспоминая, не опомнясь.

Тихонечко, как рай,
как медленное утро,
как время — выбирай,
как выбрать можешь будто,

как будто ты один
встречаешь и торопишь,
невидим, невредим,
в слезах прощанье прочиши,

и, заговорена
молчанием, спасеньем,
я стану неверна
тому, произнесеньем

чего — так в темноте,
наталкиваясь, ищут —
привязана, как те,
к тому, кого не слышат.

И недовопрошанье, и вода,
и солнечное недовоплещенье
обрушатся — стоишь и вспоминаешь
свои же строки, стронувшие лёд.
Царит закат, и вот не вспоминаешь,
а видишь: за окном проводят лошадь,
она устала, поводырь устал,
я не увижу, но они воскреснут
и утром снова под окном пройдут.
В лавине повторения таится,
вся на холмах, вдвойне родная Кушва,
вся белая от сна или от снега,
налево — храм, гляди налево, храм
неразличим за хлопьями метели,
в отличие от озера — направо,
и дышит, распахнувшееся морем.
Спасённая, представившая их,
оставившая их, живу их встречей,
живу — надежда, ожиданье их,
их вопрошанье, разум, тьма и голод,
их воплощенье, радость и борьба.

Не вернёшься, не вернёшь,
не возьмёшь себе на память
снег, с утра начавший таять,
на лету скрываясь в дождь.

Капли на воротнике,
на стекле автомобиля,
на бумаге, на руке,
на ковре, седом от пыли.

Мой бедненький, оставь меня любимым,
под этим небом розово-зелёным,
над этим камнем, этим чёрным дымом
рассыпь меня снежком заговорённым.

Прощай, листва, Москва, моё прощанье
встречай, влекома, что моё хотенье,
шептанье, рифмованье, узнаванье,
тебе не сгинуть, это наважденье.

Люби, как я, невидимая, буду,
глядя вовсёд, пока ты просто помнишь,
что я жалела встреченных повсюду
людей, немного на тебя похожих.

Я подходила к этому окну,
отодвигала штору и махала
рукой подруге, подошедшей тоже
к окну напротив — моему окну.

Какая радость, что ушла зима,
которую я снова не заметил,
чей это голос? В первое число
втекала ночь из Земляного Вала.
Дохни как на стекло — и он исчезнет.
Замри, как Рождество, — и он споёт.

Сгораньем полнится огонь.
Я думала, огню не больно.
Ты будешь радоваться: сдался,
упал, как падают во сне.

Подкрадывается весна,
и перехватывает горло,
и с веток стряхивает снег,
как слёзы стряхивает горе,

поскольку юность и любовь
застыли, как приговорённый,
я боль и ненависть забыла,
а вспомнила тоску и стыд.

Волной родства тяжёлый водоём,
срываясь, в спину бьёт покато, обнаружив —
отболит, не отболит —
меж рёбер вынутую чашу. Подхватила,
да пересозданы тобой, начнёмся здесь,
не убежать, и одновременно стоящими на месте
из окна теперь увидеться. Пуст яблоневый сад,
пусть, как потерянное сердце, кровоточат
и алеют высоко — не доберёшься — сада щёки.
Заблудившийся огонь, тебе приют.

Невеликая пропажа,
рассуждая откровенно,
то, что не было неважно,
посмотри, послушай, Лена.

В воду канула иголка,
в воздухе узор из линий,
полотно сырого шёлка,
окунувшееся в ливень.

Я последнюю рубаху
из него себе сошью,
не оглядываясь, ахну,
помню, но не узнаю.

Пусто-пусто в чашечке.
Кот клубком на тряпочке.
Мы зимуем тихо,
не тревожим лиxo.

Навестили крестницу,
постоим на лестнице.
Тянемся, дотянемся,
прянем, растеряемся.

Я пойду, счастливая,
поступь торопливая.
Лёд дорожки — бух, бух,
снег на ветке — пух, пух.

Ты в трамвае красном,
и тебе всё ясно —
буйная головушка,
 дальняя сторонушка.

ИЗ НОВЫХ АНГЛИЙСКИХ ПЕСЕН

Уже бледнеют облака,
и пекарь встать спешит,
хлебов румяные бока
в угольях сторожить.

Дым из одной трубы, другой,
и время уходить,
следы зашаркивать ногой,
ладонь в снегу студить.

Ты остаёшься, весела,
а ты, весёлый муж,
за эту ночь спалил дотла
твердейшую из душ.

И путь теперь тебе один:
за мёдом, за вином,
и хмель полощется в груди,
колодце ледяном.

В сиянье Рождества войдёшь,
смотря в Её лицо,
свечу за здравие зажжёшь —
и выронишь кольцо.

В городе Кушва зима, твёрдых пластиковых мышат —
одинаковых, рыженьких, с грушей в лапках —
нумерует белёсая девочка-продавщица,
пишет графитным чертёжным карандашом
снизу, на основании: «18»,
«18», и «18», и «18».
Пронумеровав штук сто,
принимается ставить их на стеклянную этажерку:
одного за другим, удерживая за ушки,
ряд за рядом, следя, чтоб смотрели в одну сторону.
И вот куб стеклянный похож становится на пенёк,
увитый песочно-рыженькими опятами,
тем не менее, это мышата, а не опята;
городок, занесённый снегом по подоконник —
проросшее льдом окно оплыло в сугроб, —
а не март, где сосновые щепки медовые вдоль дороги,
равноденствие — воздух, ликующий над головами
нашими.

Как продавщица мышат, старательно и упрямо
каждому дню проставляю одну лишь цену:
равноденствие, равноденствие, равноденствие,
равноденствие.

Совсем неотличима от крыла,
внизу запруда всталла,
толща снега
её — столбом — укутала до дна:
дном, глядя с неба, кажется поверхность
её. Снег, самолёт пока летят
в непротивоположных направленьях,
вода, смыкаясь с воздухом, твердеет
и обрастает инеем-пером:
вдохнула вместо воздуха лишь пух.

Мамина эсэмэска: «На улице сильный ветер». Сильный ветер раскачивал между двумя домами, как в гамаке, бумагу или пакетик, от четвёртого этажа до девятого этажа, приземистая старушка стояла у выцветшего куста, вино полыхало, как щёки, в сужающемся бокале. Не ненавидь — ему это не поможет, левым плечом пожми, отгоняя беса, вспомни, как охраняют, как окружают горы тропу, на которой выходит за корнем корень из твёрдой сухой земли, и тропа выводит. Озеро распахнулось, бьются в лицо стрекозы, божьи коровки ягодками бруслики падают с неба, которое тоже спасают горы. Видно с балкона четвёртого этажа, как наклоняются вправо деревья рощи, в доме напротив — стемнело — обнявшись, докуривает пара, я возвращаюсь — действительно сильный ветер — в комнату, полную света, дыханья книг, быстро сажусь, пишу: «Да, спасибо, мама».

Когда-нибудь договорим —
наговоримся до прощенья,
до угасающего, — Рим
четвёртый — всё же возвращенья.

Мне больно, но не виновата,
не знаю, что ещё сказать,
кого ещё подушкой мятой,
забывшись, поутру прижать

к охлаждающему — ровно
стучит постылое «прости» —
сердечку, яблочку, подробно,
сквозь пальцы, вслух произнести.

Видишь слово, оканчивающееся на «е»?
Сердце, кашне, налегке,
канале, буриме, брекеке —
птицы в руке, в реке.

(Утром открыла форточку —
отчётливым голосом Беллы Ахатовны
Ахмадулиной: «Славься, славься!»
Оцепенела, вылезла посмотреть —
никого, только люди шумят да от цветущие
ветви глаза отводят.)

Молчание? Любование? Упоение?
Питие? Пение? Зрение? Удивление?
Неостановимые чтение и течение?
Некрупные, пёрые, серенькие, легкие.

возьмёт дыхание спасёт
моё дыхание спасёт
не утоли не уходи
не утоли не уходи

я выйду утром на балкон
в начале тающей зимы
белею я — тепло-тепло
зимы

и снизу круглым малышом
баражается на снегу
смотрю дышу
дышу

Над беззащитными кошачьими ушами
не бояться одичать:
пирацетам, циннаризин, новопассит,
вдруг вспоминалось, и пожаловалась:
— Книга: кость обложки,
мякоть сердца в ней, как в рёбрах,
кровь под кожей —
но отдельно от меня.

Быстро-быстро течёт вода
в Ангаре, я смотрела на зеленоватую Ангару,
но мне снится вода очень яркая — купорос —
море, море и волны. Во сне я знаю, что вижу сон,
сон во сне: синий ладан, прохладный свет в глубине,
это твой сон, его для чего-то показывают мне.

Только что её заставляет так быстро течь,
так бежать, торопиться спрятаться, иль она —
безусловно, душа — не знает, что всем видна,
что изменчивость тела лишь подтверждение быстроте,
быстроте молчаливого страха, податливости его,
да, прозрачна душа, но видима тень её.

Своенравница: в ней отражению не успеть
поглядеться в себя, если только она не лёд,
и когда она лёд, те, кто в небе, слетаются посмотреть,
и тогда она с ними — в охапку, мёртвая — говорит.
Лёд сгорает в огне разговора и собеседник.
Я бегу, я бегу, я бегу, молчу.

Как ты меня одолевал —
сижу с закрытыми глазами,
заязваю.

Дрожат и тают на воде упругой листья.

Два яблока со сморщенною кожей:
зелёное и красное, без гнили,
лежат не рядом, словно старики.

Во всех моих сгораниях, во мне
живёт и дышит, воздухом летает
желание, вкусённое вовне,
оно не утихает, но оттает.

Попробуем безбольно воплотить
угаснувшее было мановенье,
и отвернуться, снова возвратить
другое тленье,

которым продолжаюсь и живу
и вижу превращение воочью —
лови меня, скажу, приобниму
и истлеваю, обращённа в клочья.

A. I.

Боль в белокожий воздух бросив,
её из воздуха открыв,
я принимаю эту осень,
как зимний и тревожный Крым.

Она сияет. Он сияет.
Я подошла. Подобрала
листок, который потеряет
изгиб и мягкость, порвала.

Екатерине Боярских

Глаза, чтобы плакать ими,
ладонь, чтобы прикоснуться
к холодному лбу. Цветы и
трава, и нельзя вернуться

туда, где начало лета,
там дремлет огонь напрасно,
и боль, как причина света,
беспомощна, но прекрасна.

Ты улыбаешься во сне
и день холодный согреваешь,
меня напрасно обнимаешь —
меня с тобою рядом нет.

А про улыбку я сама
придумала, тебя не видя,
я всё равно согрелась, выйдя
из помрачения ума.

Я никого не назову
из тех, кто рядом был со мной,
из тех, кем мучилась, любя,
кого забыла.

Так происходит наяву —
идёшь по улице весной,
ещё не веря, что тебя... —
происходило.

Пообещай, что назовёшь
не имя, но одно из тех
вдвоём изобретённых слов,
прикосновений,

и если это будет ложь,
то не такая, что во грех:
ты с той секунды будешь нов
и откровенен.

Мне так вчера понравилось
остаться незамеченной,
кормить тебя черникою,
чего ни говори.

И я тебе, не жалуясь
(всё жаворонок, жаворонок),
протягиваю ягоду,
лиловую внутри.

Ты забываешь обо мне.
Ну что ж, как хочешь —
напророчишь:
я во сне
не видела, как мы с тобой вдвоём
плывём
в Итаку.
Наказанный Уайльд
нам не являлся,
не нахлынула свобода,
и волной
на берег мой не выбросило утлый
челнок — его растерянный прибой
убил, как жертву кораблекрушения.
Ты мой,
где б ни скитался, сколько б ни молчал,
ни делал больно, больно, делал больно,
ни всхлипывал во сне. И по ночам
мы порознь да не вымолим друг друга
у бога Адриатики и ветра
невольно,
не забудем позабыть
забыть о том, что с юга не летают
истёртые до поцелуя письма,
я
всё напишу и так, и до, и вместо,
и после, в темноте, от слёз солёной,
развенчанная новая невеста.

Желание тебя обнять
переплетается с желаньем
уснуть, желаньем отменять
сегодня утром все дела. Я

его так жадно обниму,
так смело побегу навстречу,
что совершенно не замечу,
как снюсь ему.

Возьмёт меня за ручку, и пойдём
в кино, и есть мороженое, пить
коньяк, и слушать то, что зазвучит
в машине той, которая помчит
домой.

Сегодня я не видела его,
и мысль о нём сверкала, как вода,
безмолвно отражающая свет
огней вечерних, льющихся вслед
за ней.

И вот ночное время истекло,
растаяло мороженое, выпит
коньяк — он пьяный, пьяная она,
она, пожалуй, более пьяна,
чем он.

H. K., K. B.

Сообщества, в которых я состою, —
смутившиеся сообщества.
Что это?

Объяснял мне Андрей Хлобыстин
в день моего двадцатишестилетия.
Мы едем в автобусе из Петергофа,
в метро до центра:

— Её лицо холодное и злое,
ногти синеватые, как у негров.
Я пытаюсь расслышать, покуда несётся поезд.
Какое-то время молчит.

— Однажды я ехал в метро, покурив грибов,
тыфу ты, понюхав, — короче, понятно — эта
кем-то приведённая и рассаженная
толпа метроидиотов
увиделась мне как картина Босха:
мальчик с плеером щёлкал зубами,
раскачиваясь и лая,
бабка с кошёлкой — оборотень в очках —
бросла чешуй и шерсть.

Окостенев, еле выбрался на Гостинку.
У тебя же такое было?

— Да, — вру Хлобыстину я, напрягая связки, —
было! Кошмар! Я тебя понимаю!

— Видишь,
и она для меня такая, такое чудо-
вище, в непрерывном трипе не угасает

желание так обнять её, чтобы слезла
мерзкая чешуя.

Мы выходим в город,
в котором я состою,
город, который оброс Венецией,
колыхаются
водоросли, отовсюду воняет тиной,
я, раздвигая, бегу, понимая: рано,
ты ещё не отважился, я свободна,
прошлое надвигается.
Вот и дом,
он, конечно, чужой, но дом,
я включаю свет —
потемнело —
звонок —
голос ленивый, ясный:
— Здравствуйте, Лена дома?

Другая ночь,
я стою на Литейном мосту,
вглядываюсь в поднимающуюся воду.
— Пойдём, — окликает меня мой случайный
спутник, —
собака уже замёрзла.
Как собаку зовут? Не помню,
чувствую, как заползает под кожу сентябрьский
ветер,
ты в это время ёжишься в самолёте.
— Пойдём.

Мне оттуда запомнилось — ванна, свечи,
день, я никак не могла его разбудить, собака
скулила не переставая, лизалась, я вышла,
притронув дверь,

уставилась в оцепеневшие ветви.
Потом провожал меня, целовал в скулу.
Петроградка всосала в себя мои слёзы, горе.
Успокоилась: Петергоф.

— Вот уже десять лет мы на этой скамейке,
над нами смеются звёзды,
мы говорим про Даньку (героя романа. — Л.),
только Сунцова третья, —
чуть оборачивается та,
о которой рыдал Хлобыстин.
Покуриваю, молчу.
Ксюша ставит чайник,
Звонит телефон, она тянется через меня: — Алло?
В каком это изоляторе? Следственном? Почему?
Замолкает. Меня неожиданно крупно колотит

дрожь.

— Передам.
Мне, с улыбкой: — Лена, он не в Германии.
На таможне нашли четыре и три десятых,
он в темнице сырой. Какое
сегодня число? Двенадцатое. Вчера.
Год две тысячи первый. Сейчас будет чай.
Уходит.

ПО МОТИВАМ КНИГИ КЭНДЕС БУШНЕЛЛ

Если бы тыма опрокинула нас — едва
вышедших из холодащего утра пешком в Москву,
я бы тебе улыбалась, не говоря,
ты бы, о, ты бы, прищуриваясь, молчал,
не было бы ни Венеции, ни рубля.
Дай мне такого утра, и убежать
дай мне, я, захлебнувшись, потом верну —
только бы повторять, только состоять
в летнего моря сообществе юрких рыб,
плача, стирая слёзы твои волной,
гаснет всё то, что было, потом верну.

1

Сара Джессика Паркер в автомобиле,
синем горячем автомобиле летнем,
Сара Джессика кокетничает с блондином,
думает о брюнете,
поднимает тугую бровь,
торопится к косметологу.
Киношный Нью-Йорк-второй
обнимает её и пристраивается сзади.
В шорохе декораций вторая Сара
пьёт остывающий американо, курит,
чтобы не простыть, перевязывает шарфом
горло. Ей навстречу выходит Шэрон,
Шэрон выходит к ней из автомобиля,
Шэрон и Сара-вторая сидят безмолвно.
Волосы Шэрон треплет киношный ветер.

2

Жить заурядной, семейной, типа
той, что живут О. с Н.,
жизнью: О. утром, вернувшись, выгуливает ретривера,
Н. не был дома первые сутки. Ездить
в Ригу с любовником (тише, никто не знает,
шепчет О.). Быть оживлённым Н.,
что с интересом помешивает соус
для баклажанов. О., между тем, отметит:
в Венгрии, где я пишу PhD, вот эти

FOUR SEASONS

самые баклажаны зовут «закуска».

— Именно так, а в Италии, — Н. подхватит, — это же самое блюдо зовут «оргазмо», наша любовь, Наф-Нафик, давно пиф-пафик, ну, вот и пофиг.

3

Анна Петровна Керн надевает майку «Русская Литература Прикольней Секса», радуется: получилось поехать в отпуск. Весело Анне, не больно, не больно, весело, всё только начинается, с Божьей помощью всё обойдётся, всё хорошо закончится. Анна бредёт одна по дороге пыльной, видит: луна закатилась, как шар для боулинга, как за несбитые кегли, за кипарисы, чувствует трепет моря, снимает майку, погружается в ночь по горло.

1

Два путешественника, рядом
своенравный, беспокойный и изменчивый
их ветер.

Очарована тобой,
к нему прислушиваюсь,
им я наполняюсь и прошу
о мимолётном дуновении в мою родную сторону.
Раздует паруса,
взметнёт одежду,
перекроит по-другому
беспокойный и изменчивый их нрав.
Ему виднее —
высота есть высота.

2

Как хорошо оставить дом и путешествовать нам,
в этом словно молодость вернула неуверенность
и свежесть.

Всё сбылось и повторилось наяву,
я продолжения не вижу, лишь мечта
меня, счастливая, опять переполняет.
Не бывает так, бывает только в фильмах
с Т. Дорониной:
срывающийся голос, ожидание, любовь
как божество.

Лепестки алых роз
 валяются у оперного театра
 на твёрдой вечерней земле,
 начинают уже ею схватываться, землёй.
 «Схватываться» — так говорят о клее,
 масляной краске, цементе —
 о том, что намерено отвердеть.
 Так и любовь — уж если отвердевает,
 то в уготованной ей изначально форме.
 Прости меня.

Я смотрю на осеннюю улицу,
 думаю о тебе.
 В голове легкомысленная мелодия
 затихает,
 сменяется новой — пронзительной, будоражащей.
 Я думаю о листве,
 родившейся, выросшей и умершней,
 пока мы тянулись друг к другу.
 Соки внутри деревьев по-прежнему тянут вверх
 ветви — для новых листьев.
 Зима, и весна, и лето, за ними осень,
 листья опавшие, кружится голова.

Идёт банкир, качается,
 вздыхает на ходу.
 Его кредит кончается.
 Сейчас он упадёт.

Качается, как лодочка
 на ветреной волне,
 в его портфеле водочка,
 оставленная мне.

Мы выпьем, свяжем лыко и
 присядем на кровать —
 одну судьбину мыкаем,
 вдвоём и горевать.

Сидела у окна,
 читала интервью.
 Сегодня я одна,
 сегодня я не пью.

И сердце колет так,
 что, видимо, вчера
 всё было неспроста,
 всё было не игра.

Нам нравится игра
в рискованные прятки:
погашенное бра,
забытые перчатки.

Недолго целовать,
надолго расставаться,
по новой наливать,
по-старому скрываться —

однажды пропадём
в пленительном покое,
останемся вдвоём,
весёлые изгои.

На память обо мне
возьми сухие ветки:
они сгорят в огне,
пока на табуретке

покачиваясь, я
сижу с тобою рядом.
Я встану, и моя,
окинувшая взглядом

тебя, меня с тобой,
бегущая отсюда,
душа запомнит боль,
которую забуду.

Смахнёш мне обморок с плеча,
как верно я тебя боялась,
как отваживалась таять,
как молила: уходи,
и, увлекаема тобою, не отдергивала руку.
Ты моя, да, ты моя,
гримело в комнате, от голоса отвыкшей,
я отваживалась таять.
Посмотри. Поговори.
Страшней взаимности бывает никого.

Не выплачешь,
не вымолишь прощенья, а
сожмёшь в ладонях, стиснешь
иссохшие бутоны
до крошева, и стебли,
пустые и кривые,
сломаешь, и в труху же
их листья разотрёшь.
Колючки ранят.
Шелушится, как обветренная кожа,
осыпается чешуйками вода,
больное дерево белеет за окном.
Колючки ранят.
Я простила, уходи.

Живи, вольна, вольна, вольна, вольна.
Пари, родная времени волна.
И никого, всё глубже, глубже в лес.
Ни одного.

Пускай остатки каменной стены.
Пускай брускатка с колючимся дёrrом.
Все выселены, умерли, убиты.
Ещё немного, и меня найдут.
Мне будет проще умирать забытой,
чем тут.

Я собрала, уберегла.
Я убежала, снова убежала.
Когда-нибудь — спасибо говорю —
я разлюблю, я снова разлюблю.
Мне — мало.

РАВНОДЕНСТВИЕ

Кружиться, как голова от мартовского,
несущегося над головами нашими,
воздуха, и, нигде не кончаясь,
ступать по летящим щепкам медовым,
вдыхать их,
белое, лес, голубое, малиновое, лимонное.

Чтобы нас никто не отыскал,
мы с тобой приедем на вокзал,
сначала ты,
потом, торопясь и разбрызгивая грязь, я.
Смеющегося от радости, я тебя
глажу по рукаву, намокшему от капели.

Белый самогон-хугарден выплеснулся, звон,
звязанье и снова звон, в автобусе из города
счастливцы-именинники,
любовники-вареники,
прильну, и всё пройдёт, как шерри-бредни,
видишь, нет.

Снег на зелёных листьях.
Прямо напротив арки
поздний открыл троллейбус
двери — навстречу окнам
моим, несмотря на стужу,
распахнутым в переулок.
Между норой квартиры
и теплицей троллейбуса
белый луч протянулся
на горсть секунд остановки.
В этом луче-вспышке,
подхваченной фонарями, —
снег обрисовал фигуры
невидимой глазу пары:
мечутся, словно тени
пламени на стенах,
то веретеном взовьются,
то разлетятся — крылья
вырвавшейся птицы.
Пассажиры троллейбуса,
вышедшие в арку,
проходят сквозь их объятья,
вогласы, смех и шёпот.

Ни террасы, ни прогулки,
ни Италии, ни лета,
лишь приветливая Лета,
Лена, шепчет, *buon giorno*,
с кем ты лето лютowała,
поманю тебя — забудешь,
тихо за морем живи.

Не спасение твоё,
но дыхание спасенья.

Не маяк в воде кромешной,
но огниво маяка.

Когда пытаешься за ним
угнаться, веря, что угнался,
твою измученную душу
он опрокинет, как число,

близнец сиамский, аноним,
пропавший ныне на двенадцатой,
половинной, части суши,
где с ним расстаться повезло.

Отказывается не быть,
отказываеться быть полым,
сгорая, вспыхивает морок
и плотную бумагу пьёт,

что, не успевшая остыть,
потом напоминает холм
земли, рассыпчатой, как порох,
и вместе с тем сырой, как лёд.

Как отражение в огне,
как дом, в котором я не помню
тепла, а помню только плач,
мне повторение утраты
не горестно и не грешно.

Спроси, о чём ты будешь думать,
когда приеду налегке,
когда уткнусь в твои ладони,
когда обратно не вернусь.

Не жертва, ровное свеченье.
Не просьба, даже не мольба.
Не удивление — прощенье.
Не авантюра, не судьба.

Всеокунающему снегу
яриться полно. Ты вознёс.
Срывайся в обморок, весна.
Сбывайся, обморок, сбывайся.
Два берега молчат о нём.
Два облака восходят в нём.
И месяц розовый кружится
в водоёме.

СТОРОНЫ СВЕТА, ТЕНЬ

Поэма

I

И вот брускатка, мостовая,
здесь сумрак и сквозняк. Решайся.
Червлёной нефтью льётся ночь,
неповторима, повторима.
Три фонаря. Пологий спуск.
Я в этот глянец диабаза
уткнулась бы щёкой, ладонью
его ласкала и воспела —
когда не изгородью стих,
вьюнком, лозою вьётся, вьётся,
тихонько покрывает тело
с ним примирившегося дома,
и можно даже не смотреть
потом на лица и одежды,
раз в первородной черноте
перевила, перевязала,
лишила эха, вобрала.

II

Очнуться в лёгочном дыму
напротив ёлочного сада
среди покинутых, больных,
покрытых плесенью и снегом.
Поверь мне, я не умерла,
лепечет, шепчет ёлка, ёлка,
ведь хвоя — шерсть, её теряя —
игрушки мучают, страшат —
как ты, я голой становлюсь.

Я — до рождения младенец,
в утробе канувший, пропавший,
ну, в общем, ангел. Каменея,
сухие иглы жгут лицо,
под ветром косточки крошатся,
и с кочерыжкою ствола
теперь уже не молвить слова.
Вели, как этот сад, казнить.

III

Прогонит и вернёт, прогонит
и снова выйдет и вернёт,
промокнувшая в темноте,
закутается плоть живая.
Он спал, и, погружённый в воду,
трап самолёта в горле сна
не отпывал, не удалялся,
был вроде вобраных шасси:
держал как рыб над океаном.
Она опаздывала, ждал
и вспоминал не наказанье,
начало: перекрёсток взглядов,
в них дом пылал — не был спасён,
неосторожный пыл замечен.
Сняв туфлю, женщина спешит
по острой гальке. Кровь сочится
из зацелованной ноги.

IV

Ты видел: было убежав,
исчезнув в поисках спасенья,
обкрадывая наспех, помня,
что боль другого только льстит,
я спохватилась — и всё тише,
всё медленнее, как пластинка,
которой выключили ток,
стирая звук и замолкая,
вертелась — и остановилась.
Так сердце тихо, словно голос,
и так темно, темно, темно,
ни притяжения родства,
ни пения, ни покаянья
ты не увидишь, не возьмёшь,
как слепоту его, не тронешь.
Спасенья нет. Но ты бормочешь.
Должно помочь. Должно помочь.

V

Я не нашла другого дня,
чтоб о предательстве оставить
не память, но прикосновенье
своё в предательстве открыть,
своё молчание, а слуху
доверить пониманье сна.
Ты не нашёл другого горя,
чтоб опрокинуть и сказать:

я помню, я не изменился,
любви не вылечить огнём.
И я лечу на самолёте
и вижу города огни,
неисчислимые, как зёрна,
ненаходимые, как ложь,
в которой вязнет, угасает,
размазывается, намокнув,
окурок, брошенный тобой.

VI

Придёт весна, и золотой,
как спаниель под солнцем зимним,
заскачет, затанцует свет
вприпрыжку в анфиладе комнат.
Квартира в верхнем этаже,
куда он пригласил девчонку,
пришедшую тайком, бочком,
взглянуть на дом его и окна,
в студенческих штанах и куртке,
им узнанную у парадной,
была полна такого света.
И ей так радостно, тепло,
она как будто оказалась
в лучах сорвавшейся весны,
забытой, полноводной, новой,
и компас, найденный в кармане,
она спешит вернуть ему.

VII

Любовью — бабочкой во рту —
полузакрытыми глазами
пью неба утреннего свет,
как из реки в ладонях воду:
сосредоточенный на бликах,
живущих под лесным мостом
над безымянным истеченьем,
взгляд то и дело отвлекался,
невольно следовал, скользил
за продолжающимся бегом,
как бы желая проследить
пути искристой вереницы.
Так пробуждается, лежит,
садясь, нашупывает тапки,
встаёт, несёт себя до ванной.
Вкус холода щекочет нёбо.
Щекочет и щекочет нёбо.

VIII

Март кошкой тянется к окну,
ко сну заброшенной больницы,
за нею, слева на горе,
живёт разрушенная башня,
внизу закрытый детский сад,
он стал открытым детским домом,
его почти скрывает тополь,
который тянется, как март,
царапает стекло балкона,

шипит и роет тёплый снег
и когти-почки выпускает.
Но птицам что! Они уходом
зимы, как звери, не больны.
Пока, разбужены землёй,
те человечий голод воют,
с чужих морей они летят
к своим осыпавшимся гнёздам.

IX

Не провожай, как навсегда,
не трогай за рукав, лоток
рискует выпасть из пакета,
в лотке сегодняшний обед:
картошка, сваренное мясо,
кусочки хлеба и батона.
Я проезжаю по горам,
стоят заснеженные ёлки,
дорога мчится под уклон,
в квартире остывает чайник,
висят носки на батарее,
тепло уходит, но хранят
тепло твои прикосновенья.
Мне снова снится, что идём
в кинотеатр, закрытый ныне,
в ладони голубой билетик
на первый утренний сеанс.

X

Пока один, пока один,
тебя не тронут ночь и память
об одиночестве. И мне
твои понравятся отъезды
из гибнущей квартиры. А
ты помнишь — кажется, апрель,
и чёрный дождь, которым город
нас помирил и свёл наутро,
и синева, земля, асфальт,
гора над прудом, тихо; ветер,
студивший нам ладони, уши
и побеждённый коньяком?
Край света, окоём свеченья —
уже без снега, но до листвьев
весна, качаясь и вращаясь,
как маятник, недостижима,
как сон, где ты меня коснёшься.

XI

Смотри, как в этой темноте
мерцает время, удаляясь,
плывут в беспамятстве огни,
и в них, одни, плывём мы оба,
в объятьях этой темноты,
самой как выцветшее пламя,
как вылинявшая трава,
как выгоревший дождь под солнцем.

Туманным белым маяком
луна проглядывает рядом,
не в силах справиться с двумя
источниками света, тихо
лучом касается воды,
ища ответа в отраженье,
забыв, что отраженье — сон,
и сон бледнеет, сон бледнеет,
а мы по-прежнему вдвоём.

XII

Неодолимо, как «прощай»,
оно лепечет: здравствуй, здравствуй,
рассказывая и опомнясь,
согревшись и огонь вернув.
Так в наводненье сходят в воду,
так переламывают хворост,
вот свет, а вот источник света,
вот стороны у света: тень —
тень, север, запад, юг, восток.
Тебе не больно? Мне не больно.
Тебе не страшно? Мне — до слёз.
Я отгадала наказанье:
я обниму, я улыбнусь
движению над головою —
сад расцветает, кот поёт,
мы просыпаемся в разлуке.
Беги, я снова не смотрю.

XIII

Дом, и не вспомнишь, как теперь называть,
такое в нём текло, перебродило
и выгорело старым одеялом,
толкнуло и шепнуло: ты не в них,
не в меченых и рвущихся предметах
стараешься воскреснуть и унять
коротким эхом загородных комнат
из города спасённую тоску,
закатанную в баночке вареньем,
что возят с дачи, ты же привезла,
как лакомство заморское, на дачу,
иди и тешься, вот идёт река
над листьями, покрытыми загаром,
под ласточек стежки, как на качелях,
дыши рекой, в реке наполовину —
лёг дождь на деревянные скамейки,
он шёл, и перестал, и вновь пошёл.

XIV

На крыше или на горе,
цветущей над зелёным морем,
стоишь и видишь корабли,
ушедшие за край восхода.
— Земля, земля! — кричишь, не помня
того, что понял на земле,
которую забыл охотно,
как только от неё отторг
себя и спутника, с которым

взошёл, невзвидел, разлюбил.
Мне больше некого бояться
и словно нечего терять,
здесь тот же воздух, те же птицы,
не в клетках, вольно гнёзда вьют
и нас уже не замечают —
пожалуй, можно и спускаться,
теперь неважно, что одна.

XV

Иду, оглядываясь на
твой город, город, город, город,
отчаяние и парящий,
над небом вознесённый змей —
всего отчёлее видно,
как он взлетает и поёт
в потоках воздуха восшедших.
Как договаривались, ты
его не отпускаешь нитку,
и, проходя аэропорт,
я отличу от самолёта
его, поскольку змей — в одной
сияющей от взгляда точке,
а самолёты — догоняй
не догоняй, не остановишь.
Не останавливайся, не
забудь, что я иду навстречу.

XVI

Мы будем холоду и сну,
обнявшись, радоваться, голос
померкнет, будучи зарыт
под одеяла и окончен
тяжёлой тёплою зимой,
чем ближе, тем ему ненужней
звучать, где тишина, там дом:
позвякивание посуды,
поскрипыванье половиц,
похлопыванье дверцы шкафа —
здесь стали голосу равны
и пойманному сном дыханию.
Живым отсюда не уснуть,
и, улыбнувшись, я открыла
окно и выпустила дым.
Горит восток зарёю новой.
Светает, скоро рассветёт.

XVII

Он был там и вернулся, сел
и попросил густого чаю,
облокотился, протянул
ладонь, услышав дождь; окно
в соседнем доме колыхнулось,
мигнуло и пропало, он,
себя увидев, ужаснулся,
но не по-новому, закрыл
глаза — и сон его окутал.

Она была к нему спиной,
смотрела на горящий чайник,
рассказывала: в тот же день,
как ты уехал, на пороге,
под лестницей, нашла змею —
в клубок свилась, ушла тогда лишь,
когда плеснула кипятком.
Дом слушал и стонал от ветра.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Иличевский. Оглушительный штиль 5

ГДЕ АМЕРИКА

«Так воздух выпадет из рук...»	13
«На пороге расставались...»	14
«Упадёт за взглядом свет...»	15
«На маленьком окне...»	16
«Жёлтые деревья...»	17
«Боль заменяет остроту...»	18
«Гибнем, как выпавший в город снег...»	19
«В белом воздухе медовом...»	20
«Люди со спины...»	21
«Колодец, полный пустотой...»	22
«Слева теплота...»	23
«Самолёт летит, качая...»	24
«Прогулка, поиски вптымах...»	25
«Тройчатка»	26
«Освободившись от любви...»	28
«Летя дворами и домами...»	29
«И волна ли или нам и...»	30
«Вечер плывёт по его руке...»	31
«По тёплым улицам пустым...»	32
«Счастье только лишь чужое...»	33
«...ещё не высохла зима...»	34
«На одном материке...»	35
«Я помню их осенний вид...»	36

«Зимой дыхания тепло...»	37
«Обыкновенная зима...»	38
«Какая радость, что меня ...»	39
Не поднимет душа – тяжелее зла...»	40
«И вот простилась с радугою, милый...»	41
«Себя на ветер бросил дождь...»	42
«Превозмогая вид знакомый...»	43
«Горе подарила...»	44
«Смотри на небо этажей...»	45
«Вижу декабри...»	46
«Тонет путешествий...»	47
«Зима зима, земле золы зима...»	48
«Или забыла тебя, потом...»	49
«Это дерево в окне...»	50
«Вот буксиры плывут по реке ночной...»	51
«Скоро вернётся к тебе зима...»	52
«Приближаясь к лету...»	53
«Воздух хмурый и грязный, грузный...»	54
«Снег на грушевый листок...»	55
«И по левой щеке тоже ударь...»	56
«А ему скажи ты бре...»	57
«Лепестковый сон...»	58
«Сухое дерево разлук...»	59
«Темнота, куда глядишь...»	60
«Выйдешь, осень разом...»	61
«Тёмное утро, ливень стеной, спиной...»	62
«Впервые – дух захватывает, позже привыкаешь...»	63
«Похоже облако на яблоко...»	64
«Ветер дунет справа...»	65

«Воду внизу без запаха и песка...»	66
«Ты приснишься на роликовых коньках...»	67
«Твой остров и твоя Москва...»	68
«По горам, по долам...»	69
Гавайи	70
«Нежность, которая нас качнёт...»	71
«Небо такое же, как тогда...»	72
«Вытянулась мгла...»	73
«И старая река, и жар...»	74
«Над голубым, как в иле водоросли, днём...»	75
«Там, где Америка, босиком...»	76
«Здесь облачно, плывёт асфальта тень...»	77
«Пугливо голуби неслись...»	78
«Не вознаграждена, обручена...»	79
«Вечер, дерево, восток...»	80
«Увидит темноту и дрёму...»	81
«Океан обнимет юг...»	82
«...и договорил...»	83
«Белая вода...»	84
«Парит подснежнико-подсолнух...»	85
«Небо темнеет – рухнет скоро...»	86

ГДЕ БЕГ (*Стихи, написанные в России*)

«Любимая, любовница, любовь...»	89
«Чужая жизнь врывается в окно...»	90
«На первой глади полотна...»	91
«Ненужный, плачь не плачь...»	92
«Молчи, моя просодия, молчи...»	93

«И речи трезвой и бездонной...».....	94
«Жизнь снова выдохнула: нет...»	95
«От целого смятения и лжи...».....	96
«Как платок, упавший на пол...».....	97
«За ним рассыпается...»	98
«Теперь – навеки, Боже мой...»	99
«Какая может быть надежда...»	100
«Боль хлынет, как вода...»	101
«В Москве до боли головной...»	102
«Утопленница-жизнь...»	104
«Были с тобой под одним небом...»	105
«Ветер бежевый поёт...»	106
«Какое дерево цветёт...»	107
Романс.....	108
«Тихонечко, как рай...»	109
«И недовопрошанье, и вода.....	110
«Не вернёшься, не вернёшь...»	111
«Мой бедненький, оставь меня любимым...».....	112
«Я подходила к этому окну...»	113
«Сгораньемолнится огонь...»	114
«Волной родства тяжёлый водоём...»	115
«Невеликая пропажа...»	116
«Пусто-пусто в чашечке...»	117
Из новых английских песен	118
«В городе Кушва зима, твёрдых пластиковых мышат...» ...	119
«Совсем неотличима от крыла...»	120
«Мамина эсэмэска...»	121
«Когда-нибудь договорим...»	122
«Видишь слово, оканчивающееся на е?»	123

«возьмёт дыхание спасёт...».....	124
«Над беззащитными кошачьими ушами...»	125
«Быстро-быстро течёт вода...»	126
«Как ты меня одолевал...»	127
«Во всех моих сгораниях, во мне...»	128
«Боль в белокожий воздухбросив...».....	129
«Глаза, чтобы плакать ими...»	130
«Ты улыбаешься во сне...»	131
«Я никого не назову...»	132
«Мне так вчера понравилось...»	133
«Ты забываешь обо мне...»	134
«Желание тебя обнять...»	135
«Возьмёт меня за ручку и пойдём...»	136
«Сообщества, в которых я состою...»	137
По мотивам книги Кэндес Бушнелл.....	141
Four seasons.....	143
Алкоголи	145
«На память обо мне...»	147
«Смахнёшь мне обморок с плеча...»	148
«Не выплачешь...»	149
«Живи, вольна, вольна, вольна, вольна...»	150
Равноденствие	151
«Снег на зелёных листьях...»	152
«Ни террасы, ни прогулки...»	153
«Когда пытаешься за ним...»	154
«Как отражения в огне...»	155
«Всеокунающему снегу...»	156
СТОРОНЫ СВЕТА, ТЕНЬ (Поэма)	157

Литературно-художественное издание
Серия «Поэтическая библиотека России»

Елена Сунцова
Голоса на воде

Редактор
Лариса Спиридонова

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Ирина Машковская

Вёрстка
Наталья Маланина

Подписано в печать 28.09.2009
Формат 70x108 $\frac{1}{32}$. Усл. печ. 7,7.
Бумага писчая.
Тираж 1000 экз. Заказ №.

«Время»
115326 Москва ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5568
<http://books.vremya.ru>
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620041, ГСП-148, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru